



МИХАИЛ ПРИШВИН И АЛЕКСАНДР БЛОК

© 2015

АРХИВ

А.М. Подоксенов



**Подоксенов
Александр
Модестович** —
доктор философ-
ских наук, профес-
сор кафедры фило-
софии Елецкого го-
сударственного
университета
им. И.А. Бунина.
Постоянный автор
журнала. E-mail:
podoksenov2006@
rambler.ru

Один из самых талантливых русских поэтов начала XX века, А.А. Блок (1880–1921) оказал значительное влияние на мировоззрение и творчество М.М. Пришвина (1873–1954), сказавшееся не только на ряде сюжетов его художественных произведений, но и на том, что внутренний диалог с поэтом писатель продолжал до конца своих дней. Впервые Блок и Пришвин встретились в Петербурге в конце 1908 года на одном из заседаний Религиозно-философского общества. «Тут, возле этого кружка, — вспоминал Пришвин, — я познакомился с Блоком и многими другими поэтами и писателями. Блок, красивый, блестящий поэт, окруженный барышнями, поразил меня с первого знакомства серьезностью своего духовного внимания. Он говорил “по духу” там, где все обыкновенные люди говорили шутя» [17, с. 206].

С первых же минут знакомства Пришвин был очарован искренностью и деликатностью поэта, добросердечная простота которого привлекала собеседников и сразу же настраивала отношения на дружеский лад. “Подхожу сегодня к Блоку, спрашиваю его, и так он ответил мне проникновенно. Я его понял без слов, — фиксировал писатель в Дневнике в ноябре 1908 года. — Хотел ему что-то сказать. Тут подошел М.Н. Все закрылось. Теперь я встречу его — кто знает — что-нибудь помешает, и закрылась душа, и нет его. Кто подходит — мешают все во мне” [24, с. 186].

Стремление Пришвина поговорить со знаменитым поэтом было обусловлено желанием получить от него рецензию на повесть “За волшебным колобком” (1908) — свою только что изданную вторую книгу. Но вновь остаться наедине с Блоком удалось лишь два месяца спустя, в начале января 1909 года: “Я попросил его прочесть мою книгу, обратить внимание на стиль и сказать мне о книге так, чтоб мне что-нибудь осталось для себя” [там же, с. 199].

Откликаясь на просьбу, Блок не только внимательно прочитал книгу, но и высказал столь необычное заключение, что оно начинающему писателю запало в душу на всю жизнь. Вспоминая о нем, Пришвин в 1922 году записал в Дневнике:

«Блок, прочитав “Колобок”, сказал:

— Это не поэзия, то есть не одна только поэзия, тут есть еще что-то.

- Что?
- Я не знаю.
- В дальнейшем нужно освободиться от поэзии или от этого чего-то.
- Ни от того, ни от другого не нужно освобождаться» [16, с. 257].

Очевидно, что Блока заинтересовало творчество писателя, делающего первые шаги в литературе. Об этом свидетельствует еще один его отклик — рецензия на книгу Пришвина “У стен града невидимого. Светлое озеро” (1909), в которой поэт особо подчеркнул, что автор «прекрасно владеет русским языком, и многие чисто народные слова, совершенно забытые нашей “показной” и по преимуществу городской литературой, для него живы. Мало того, он умеет показать, что богатый словарь, которым он пользуется, и вообще жизнеспособен, что богатства русского языка еще далеко не исчерпаны» [5].

Высокий профессионализм и искренность блоковской оценки своего творчества Пришвин высоко ценил, с благодарностью принимая и критические замечания в свой адрес. “К сожалению, М. Пришвин владеет литературной формой далеко не так свободно, как языком, — отмечал Блок в рецензии. — От этого его книги, очень серьезные, очень задумчивые, очень своеобразные, читаются с трудом. Это — богатый сырой материал, требующий скорее изучения, чем чтения; отсюда много могут почерпнуть и художник, и этнограф, и исследователь раскола и сектантства” [там же].

Но самым значимым был все-таки устный отзыв Блока, о чем писатель неоднократно упоминал в своих дневниковых заметках. Об этом свидетельствует и написанная в 1933 году пришвинская статья “Мой очерк. (Биографический анализ)”, знаменующая 60-летие со дня рождения и 30-летие писательской деятельности, где он с предельной откровенностью говорит о собственном творчестве: «Начиная от своего первого очерка “В краю непуганых птиц”, кончая очерком своей жизни “Кашеева цепь” и книгой “Журавлиная родина”, Пришвин занимался исключительно тем, что старался расплавить в каждом своем очерке какое-то трудное *что-то*» [23, с. 7]. По признанию художника, сказанные Блоком в начале века слова он запечатлел “в своем сердце на веки вечные как вопрос, подлежащий разрешению во времени”, и очень долго над ними раздумывал, лишь по прошествии многих лет догадавшись, что же хотел сказать поэт. Оказывается, «это *что-то* не от поэзии есть в каждом очерке, это *что-то* от ученого, а может быть, и от искателя правды, в том смысле, как Тургенев сказал об очерках Глеба Успенского: “Это не поэзия, но, может быть, больше поэзии”. В общем это *что-то* очерка есть как бы остаток материала, художественно не проработанного вследствие более сложного, чем искусство, отношения автора к материалу» [там же, с. 6]. Безусловно, здесь Пришвин имел в виду не только отмеченную Блоком лексическую близость к неиссякаемым родникам народного русского слова, но и свое мировоззренческое отношение к жизненному материалу, “в правдивости своей до того сильному, что краеведы, этнографы, педагоги, охотники считают его сочинения этнографическими, краеведческими, охотничьими, детскими и так далее” [там же].



Александр Блок.
1907

Неизменная правдивость Пришвина перед самим собой и устремленность к постижению истинных реалий жизни позволили ему как художнику и мыслителю почувствовать также и в Блоке ту скрытую двойственность и сочетание несовместимых начал (смесь романтизма и декадентства, православия и сектантства, реализма и символизма, юродства и нигилизма), которые одновременно и притягивали, и отталкивали начинающего писателя от петербургской интеллигенции. «Все вместе образовало какой-то водоворот, втягивающий в себя новичка, — позже вспоминал Пришвин. — Втянутый сразу же терял всякий вкус к окружающей водоворот “здоровой” “гражданской” литературе. Кстати, такая литература в то время и не имела корней, и два-три (да обчелся) даровитых писателя беспомощно металась по безвкусным широтам бездари. Напротив, в мистическом водовороте вкусно, завлекательно и литературно. Петербургская литература того времени, отображая в себе красивейший город на болоте, была сама, как лилия на болоте» [17, с. 210].

Мистический водоворот интеллектуальной жизни Северной столицы, куда втягивались начинающие провинциальные литераторы, во многом обусловливался духовным брожением общества на рубеже XIX—XX веков, характеризовавшимся повальной увлеченностью интеллигенции как европейской теорией социализма, так и отеческим религиозным сектантством. Вероятно, тогда-то и появился в сознании писателя, увлеченного в начале XX века изучением хлыстовства, историко-софский символ чана как художественный образ поглощающей личностью стихии народной жизни. В очерке Пришвина “Круглый корабль” (1911) с образом чана связаны хлыстовские призывы к интеллигенции отказаться от эгоистического индивидуализма и броситься в кипящее варево народной жизни, чтобы таким путем приобщиться к истинной вере. Сам писатель относился к подобным призывам весьма критически, считая для себя невозможным требование “забыть свою личность и броситься в чан”, чтобы стать частицей сектантской массы [21]. Тем не менее именно чан как предмет обрядово-ритуальных действий сектантов станет для Пришвина тем символом туманного и метафизического смысла народной веры, постичь тайну которой так жалело русское образованное сословие, еще с народнических времен мечтавшее обрести религиозно-духовное единство с народом. Более того, мистический образ чана, раствориться в бурлящем водовороте которого

сектанты приглашали интеллигенцию, парадоксальным образом окажется связан с именем Александра Блока.

Царский Манифест о свободе совести, слова, собраний и союзов 17 октября 1905 года дал толчок к появлению массы новых религиозных сект, начавших бурную деятельность наряду с вышедшими из “подполья” разнообразными ответвлениями традиционного русского старообрядчества. В период религиозного брожения начала XX века интеллигенция стала особо интересоваться народными сектами, желая приобщиться к устоям народного бытия и таким путем постичь тайну русской души. Сектанты же в образованном сословии надеялись найти защиту от векового гонения светской властью и господствующей церковью. «Жажда залучить к себе культурного человека у них была велика, — писал Пришвин о сектантских “вождях”, — потому что они смутно надеялись найти через это выход из теснин

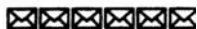
секты в общий мир. И у этих культурных людей жажда броситься в чан была велика» [25], ибо многим из творческой интеллигенции страстно хотелось стать духовными вождями своего народа. “Вообще все бы с удовольствием повертелись, а потому заискивали у хлыстов” [14], — рассказывал писатель о настроении коллег по писательскому цеху, жаждущих найти источник творческого вдохновения в темных глубинах водоворота религиозной веры.

Одним из таких чающих был Блок, который в своих дневниковых размышлениях 1910 года обращался именно к Пришвину, надеясь с его помощью найти у сектантов выход из духовного кризиса: “Поехать можно в Царицын на Волге — к Ионе Брихничеву. В Олонецкую губернию — к Ключеву. С Пришвиным поваландаться? К сектантам — в Россию” [3]. И вполне вероятно, что, посещая вместе с Пришвиным собрания хлыстов, в фантастических образах их обрядов Блок черпал не только сюжеты для стихов, но и стимулы для своего поэтического таланта. При этом не только Пришвин видел в творчестве Блока влияние хлыстовщины. Весьма близкий поэту и друживший с ним в начале века А. Белый писал, что Блока, несомненно, что-то «сближает с русским сектантством. Сам он себя называет “невоскресшим Христом”; а его Прекрасная Дама, в сущности, хлыстовская Богородица. Символист А. Блок в самом себе создал странный причудливый мир, но этот мир оказался до крайности напоминающим мир хлыстовский» [2].

Характерной чертой общественного сознания предреволюционной эпохи было нигилистическое отношение к традиционной русской церкви. И на фоне скептического отношения к официальному православию лидеры самых различных как светских, так и религиозных течений в равной мере претендовали стать земными пастырями своих приверженцев, каждый по-своему пытаясь



Михаил Пришвин.
Фотопортрет
к первому собранию
сочинений. 1912



низвести Всевышнего с небес на землю, чтобы использовать в интересах своей секты. Пришвину, который был вхож и в народные, и в интеллигентские круги, одинаково чающие истинной, но непременно какой-то “новой” веры, собрания в Религиозно-философском обществе казались своего рода радениями, но радениями интеллигентскими: все курят и на фоне изяшно-вульгарных шуточек и веселого хохота ведут схоластические разговоры о вечности, воплощении и искуплении. “Это плазма народных царств (чанов), аналогичная плазме Общества религиозного сознания. <...> Кажется, что и там, и тут говорят все об одном и том же, люди одни и те же, хотя всем кажется, будто они все начинают век” [24, с. 249]. Различие же заключалось в разрыве слова и дела: в то время как народ искренно пытался преобразить свою жизнь, интеллигенция занималась лишь кружевоплетением слов, хотя и покаянно укоряла себя за это.

В набросках к задуманному в те годы роману о богоискательском движении “Начало века” Пришвин писал, что в обществе было две разновидности сект и два типа вождей — претендентов на религиозно-духовное лидерство. Представители декадентской богемы Северной столицы в лице руководителей Религиозно-философского общества центром притяжения и обладателями небесных истин считали именно себя: «“Они” — народ, ищущий Бога, “мы” — Мережковский, Гиппиус, Философов» [там же, с. 242]. Отсюда логично следовал вывод: не образованное сословие должно искать религиозные истины у народа, а напротив, народ должен прийти за знанием правильной веры к интеллигенции. И очутившемуся в высших кругах петербургской элиты “казалось, будто он на небо попал, и небо это было стеклянное. <...> Казалось, что они вовсе не едят, не спят, не рожают и все время говорят, читают и пишут” [там же].

Характерным признаком интеллигентской секты, замечал Пришвин, была схоластика мышления: образованное сословие хотело лишь теоретически “изучить хлыстовство”, чтобы знание это, подобно всякому иному знанию, приспособить к своим нуждам. Неискушенные же в книжной премудрости сектанты выдвигали требование более существенное: союз должен быть не столько на почве единомыслия, сколько единочувствия, а потому предлагали чающим соборного единства броситься в общий чан, искренно считая, что лишь путем растворения личности в общей вере возможно полное слияние народа и интеллигенции. Таким образом, заключал писатель, в наличии оказалось “два чана: интеллигентский и народный. У народа чан удался, потому что там сохранилась способность отдаваться, здесь же [в среде интеллигенции] каждый хотел быть царем. По Мережковскому, способность отдаваться (царю) — русское начало, а быть царем (личностью) — европейское, так что схематически получается чан Европы и чан России. Богема противопоставляется хлыстовству. Кающаяся богема, ищущая нравственности богема, кающиеся боги, а там обоженное рабство” [там же, с. 245].

Блок, по свидетельству Пришвина, в выборе духовного пути в те годы постоянно колебался между разными партиями-сектами, очевидно, как и всякий гениальный поэт, острее других чувствуя “подземные толчки” близящейся катастрофы. Уже после револю-

А. Подкошенов
Михаил
Пришвин
и Александр Блок



Иллюстрация
Ю.П. Анненкова
к поэме А.А. Блока
“Двенадцать”. 1918

ции 1905–1907 годов Пришвин вспоминал, как он вместе с Блоком присутствовал на одном из сектантских собраний: «Помню, однажды в десятилетие нашего интеллигентского богоискательства заинтересовались мы одной сектой “Начало века”, отколовшейся от хлыстовства. И помню, один из кипевших в этом чану именно так и говорил нам:

— Жизнь наша — чан кипящий, мы варимся в этом чану, у нас нет ничего своего отдельного, и знаем, у кого какая рубашка: нынче она у меня, а завтра у соседа. Бросьтесь к нам в чан, умрите с нами, и мы вас воскресим. Вы воскреснете вождями народа.

На это возражали:

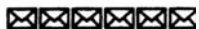
— Как же броситься, а личность моя?

Я, близко знавший эту секту, не раз приводил на край ее чана людей из нашей творческой интеллигенции и всегда слышал один и тот же вопрос:

— А личность?

Ответа не было, и не могло быть ответа из чана, где личность растворяется и разваривается в массу» [15, с. 26].

Исследуя богоискательские увлечения различных социальных слоев, Пришвин стремился понять, каким же образом разные со-



циальные силы, при явной несовместимости сословных, идейных и экономических взглядов, приходят к однотипным мировоззренческим идеям. Как хлыстовские вожди внушают рядовым сектантам, что близок тот “час, когда царь-Христос в их общине не будет нужен, отпадет, и все рабы воскреснут свободными, и тогда будет настоящая коммуна и начало века” [24, с. 290], так и революционеры проповедуют стадность: “Социализм, с одной стороны, имеет черты сектантства (немоляки): нетерпимость, частичность, ложность от частичного приятия мира... с другой стороны, опять как сектантство, сохранение чего-то вечно природного, присущего всему миру” [там же, с. 637–638].

В процессе постижения внутренней связи между политическим и религиозным движением современности к Пришвину пришло понимание и путей проникновения религиозного сектантства в русское политическое движение, и способов, которыми религиозная ересь соединяется с революционной борьбой. В одной из публицистических статей 1914 года писателю удалось не только логично и доказательно показать механизм политизации религии, но и художественно изобразить, как “в одной из сект, происходящих прямо от хлыстовства, совершилось воскресение мертвой греховной плоти”, когда под влиянием революционных идей “секта превратилась в социалистическую общину” [11]. Так Пришвину приоткрылась тайная логика истории: мистическое и рационалистическое движения удивительным образом объединяются в деле устройства коммунистического рая на земле, и этому противоестественному симбиозу идейно содействует, казалось бы, должна обладать здравомыслием русская интеллигенция.

Анализ отечественной истории привел писателя к выводу о том, что тенденция идеологизации общественного сознания и проникновения политики не только в религию, но и в искусство появилась еще в начале XIX века: уже “со времен Пушкина вся наша последующая литература, за немногими исключениями, была песней на краю кипящего чана, песней соловья на подрезанной березе. Вспомните, как Лев Толстой отказывается от своей художественной песни, называя ее болтовней, и бросается в этот кипящий чан” [24, с. 291]. Применяя идею социальной детерминированности искусства и творчески интерпретируя знакомую еще с юности марксистскую парадигму познания мира, Пришвин резюмировал: поскольку ни один художник не может быть свободен от условий бытия, то “литература должна умереть была и воскреснуть вместе с тем [классом], который составлял тот чан общества” [там же, с. 292].

Наступивший XX век породил не только новые социально-экономические тенденции развития общества, но и новые формы их осознания. Заимствованный из Европы марксизм оказался в России вполне совместим как с богемно-интеллигентским, так и с народным сектантством. Различие же между социалистами и представителями самых темных сект было весьма условным — все они, лишь по-разному, говорили о том, что одинаково для секты и социализма: об организационной сплоченности своих рядов, основанной на единомыслии, о том, что счастье и блаженство —

в будущем, а сейчас надо ограничивать себя и страдать. Отсюда логично вытекала главная цель любой русской партии — будь то секта хлыстов, кружок декадентов или организация революционеров — “переделать Савла в Павла”, то есть всеми доступными способами и средствами привлечь людей к себе и обманом ли, кнудом или пряником заставить служить своим интересам. В результате и для представителей народного сектантства, и для социалистов, и для богемной интеллигенции представления об устройстве справедливого общества оказались во многом схожи: “Коммуна стала как крест” [там же, с. 293]. Иными словами, идея коммуны обрела для всех религиозно-сектантское значение креста и одновременно чана, в котором личность каждого должна была слиться в монолитное единство. Большевики, сектанты и декаденты желали одного — усреднить личность и довести сознание каждого индивида до *нерассуждающей верности* некоей высшей идее.

Но если в царское время ради *маленького чана* религиозной секты интеллигенты жертвовать своей личностью не хотели, то ситуация коренным образом изменилась, когда забурлил *большой чан* русской революции, разогреть который стала политическая партия большевиков. Вот этого-то политического искушения и не выдержал Блок: удержавшись в свое время от хлыстовского чана, он теперь все-таки решил кинуться в безумный чан революции. Именно так истолковал Пришвин воодушевление Блока по поводу Октябрьского переворота: “Я думаю сейчас о Блоке, который теперь, как я понимаю его статьи, собирается броситься или уже бросился в чан.

Было такое время, когда к чану хлыстовской стихии богоискатели из поэтов с замиранием сердца подходили, тянуло туда, в чан. <...>

Блок подходил к кипящему чану и спрашивал:

— Как быть мне с вами?

И ему отвечали:

— Бросься в чан!

В тот маленький чан он не бросился, а в нынешнем большом опять стоит на краю” [15, с. 26–27].

В отличие от Блока, встретившего Октябрь с романтическим настроением, Пришвин отнесся к перевороту резко негативно, считая марксистскую идеологию классовой борьбы совершенно чуждой как историческому бытию, так и культуре русского народа. Оказавшись в разгар революционной смуты в самой гуще петроградских событий, писатель как член редакции правозесеровской газеты “Воля народа” активно публиковал в ней с осени 1917 до весны 1918 года свои статьи — отклики на бурно развивающиеся события. Само сотрудничество писателя с антибольшевистской газетой в условиях “красного террора” демонстрировало не только его гражданский протест против государственного переворота, но и свидетельствовало о личном мужестве. Более того, вместе со всей редакцией “Воли народа” Пришвин был арестован и со 2 по 17 января 1918 года находился в тюрьме. Так по иронии судьбы писатель, уже побывавший в царской тюрьме за революционную пропаганду, попал под арест именно той власти, прихода которой добивался в юности.



После двухнедельного томительного заключения, когда узникам казалось, что само время потеряло меру и счет, а извне тюрьмы приходили лишь известия о казнях невинных людей, Пришвин оказался на свободе. А через два дня, 19 января, в газете “Знамя труда” он прочитал статью “Интеллигенция и революция”, в которой Блок с воодушевлением приглашал всех образованных людей России “слушать музыку революции”. До глубины души возмущенный воцарившимся беззаконием, Пришвин с негодованием встретил и эту статью, и прозвучавший днем ранее в газете “Петроградское эхо” призыв знаменитого поэта сотрудничать с новой властью, поскольку “вне зависимости от личности, у интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков” [6].

Пришвин не только категорически отверг революционный энтузиазм Блока, принявшего государственный переворот за подлинное начало преобразования мира, но и расценил его позицию как типично сектантское преклонение интеллигенции перед взбунтовавшимся народом. 16 февраля 1918 года в газете “Воля страны” писатель опубликовал статью «Большевик из “Балаганчика”». (Ответ Александру Блоку)», в которой резко критиковал поэта, вставшего, по его мнению, в позу “кающегося барина” по отношению к большевикам. Отмечая очевидную ошибочность попытки Блока эстетически оправдать революцию, Пришвин с возмущением писал: “И кто говорит? О войне — земгусар, о революции — большевик из Балаганчика” [12, с. 171].

Последние слова, очевидно, более всего уязвили Блока, о чем свидетельствует его письмо Пришвину, написанное в тот же день, когда вышла статья: «Михаил Михайлович, сегодня я прочел Вашу статью... <...> ...Ни один журнальный враг.. не сумел подобрать такого количества *личной* брани. <...> Неправда у Вас — “любимый поэт”. <...> ...Надо сказать — не “любимый поэт”, а “самый ненавистный поэт”» [1]. Пришвин же, несмотря на резкий тон своей статьи, ставил перед Блоком вопросы скорее философского характера, которые касались личной ответственности интеллигенции за судьбы народа и государства, а употребив ироничное выражение В.В. Розанова “большевик из Балаганчика”*, хотел лишь подчеркнуть театрально-артистическую природу души поэта, который даже к великой исторической трагедии России отнесился по-лицедейски, как будто с подмостков сцены пытаюсь оправдать романтику революции.

О том, что романтическое восприятие революционного движения было глубоко присуще поэту еще задолго до Октябрьского переворота, свидетельствует и блоковское письмо Розанову от 20 февраля 1909 года, где он не только с поэтическим пафосом прославлял террор революционеров, которые “убивают, как истинные герои”, но и настаивал на необходимости свержения монархии: «Ведь правда всегда на стороне “юности”. <...> Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость. <...> Революция русская в ее лучших представителях — юность с нимбом вокруг лица» [7].

Очевидно, именно этот революционный романтизм и стал тем камертоном души поэта, что позволил ему услышать в Октябрьской катастрофе некую “музыку”. Возмущение Пришвина вызва-

* В статье «Автор “Балаганчика” о петербургских Религиозно-философских собраниях» (Русское слово. 1908. 25 янв.) В.В. Розанов резко критиковал А.А. Блока за декадентскую отстраненность от насущных проблем общества.

ло не только то, что великий поэт сам бросился в чан революции и художественно оправдал ее в поэме “Двенадцать”, но и его призыв к признанию советской власти и сотрудничеству с партией Ленина. Да и многие деятели русской культуры с негодованием встретили поэму Блока как эстетическую поддержку большевизма, который тотчас же стал использовать текст “Двенадцати” для пропаганды своих идей. Так что Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус прямо из окон своего дома на Сергиевской улице могли любоваться вывешенным кумачевым плакатом:

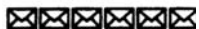
Мы на горе всем буржуйам
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

Из множества негативных высказываний в адрес Блока, пожалуй, самое резкое принадлежит И.А. Бунину, посчитавшему, что поэт не только “впал в некий род помешательства на большевизме”, но и встал на позиции богохульства в своей поэме “Двенадцать”, которую нельзя назвать иначе, чем “патологическое кошунство: какой-то сладкий Иисусик, пляшущий (с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз) впереди этих скотов, грабителей и убийц” [8]. Для Блока, саркастически замечал Бунин, эта кровавая свистопляска и называется “народ объят музыкой революции — слушайте, слушайте музыку революции!” [9]. Автор “Окаянных дней” решительно отказывал “революционной стихии” в праве претендовать на “музыкальный” и романтический ореол культуры, понимая, что разбуженный хаос сметет все прежние ценности бытия, что большевизм, освободив накопившийся в народе огромный потенциал разрушительной энергии, но не обладая ясной программой строительства новой жизни, уничтожит прежде всего самих подстрекателей государственного переворота.

Пришвин также был абсолютно уверен, что большевизм обманет Блока, начавшего “служить” политике, и бросившийся в чан революции поэт станет не вождем народа, а обыкновенным сектантом и неизбежно погибнет как художник. Собственный опыт убеждал Пришвина, что политизация всегда губительна для творчества. Как в XIX веке идеология народничества, будучи руководящим мотивом, принуждала писателей вести пропаганду



“Музыка революции”.
Так били колокола.
Фото
М.М. Пришвина.
1930



“необходимого сострадания и обязательного равенства по мужику: раз мужик страдает, то и я должен страдать” [20], так и в XX веке стремление художника руководствоваться интересами современных социальных сил превращало искусство в разновидность политики. “Всюду вы встречаете одно и то же: спев несколько песен, поэт видит себя поющим на краю кипящего чана — народа: не до песни, нужно дело, он бросается в чан, в бессловесное, где мы его потом видим уже не поэтом, а... живым мертвецом”. А конечной причиной обреченности на творческую неудачу, по Пришвину, является то, что прямое идейное служение несовместимо с художественной правдой, поэтому любая политическая сила, “искушающая броситься в чан, не сдерживает своего обещания, поэт воскресает не как поэт, а как сектант, лжепророк, самозванец” [24, с. 292].

Вполне очевидно, что под силой, “искушающей броситься в чан”, Пришвин имел в виду партию большевиков, а под “сектантом, лжепророком и самозванцем” — Блока, который в своей поэме “Двенадцать” апологетически воспел государственный переворот, увидев в нем предвестие демократических перемен. В призыве поэта “Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию” [4] Пришвин видел не просто эстетический соблазн “музыкой революции”, но и глубочайшее заблуждение относительно сущности происходящих событий. Правда, и это следует особо подчеркнуть, отношение самого Блока к революционному Октябрю было далеко не столь однозначным и в “музыке революции”, слышать которую отказывались многие из его современников, поэт изначально находил не только романтику, но и трагические ноты хаоса внутри того вулкана, каким тогда была народная жизнь. Да и сама судьба Блока, умершего в августе 1921 года от недоедания и болезней, оказалась полна разочарований в революционных идеалах. “Мариэтта Шагинян, — писал Пришвин вскоре после смерти поэта, — мне рассказывала о Блоке ужасные вещи, будто бы Блок умер не от физических, а от духовных причин, что в последнее время его все вокруг убивало и никто из окружающих не понимал, что его убивало” [16, с. 267].

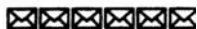
Для пришвинского сознания, в котором художественное восприятие мира всегда было связано с его философским осмыслением, большевистский переворот стал символом нового губительного чана. И называя Октябрьскую революцию чаном, где личность разваривается в массу, писатель дает историософскую оценку большевизму как очередному сектантскому движению, цель которого — превратить человека в существо безликое и бессловесное. Если в царское время сектанты завлекали интеллигенцию в свой хлыстовский чан обещанием взамен утраты личности обрести духовную власть над народом, то в революционный чан большевики уже не приглашали, а насильно заталкивали. «Теперь стало ясно, что выходить с теплой душой во имя человеческой личности против насильников невозможно: чан кипит и будет кипеть до конца... [пока все сословия не сольются] с тем, что он [Блок] называет “пролетарием»» [12, с. 170], — писал Пришвин в открытом письме поэту в феврале 1918 года по поводу его статьи “Интели-

генция и революция”. Вполне вероятно, что именно в ходе этой полемики с Блоком у писателя рождаются основные идеи сюжетной линии “Мирской чаши” — будущей повести о революции как большевистском чане, в котором страдальчески вывариваются люди, “варится Бессловесное. Эта видимость Бессловесного теперь танцует, а под этим вся беда наша русская, какой Блок не знает, не испытал” [там же, с. 171]. Ведь в отличие от романтических иллюзий Блока, считавшего, что за падением монархии непременно наступит царство свободы, равенства и братства, Пришвин в революционном движении видел близость конца исторической России, буквально физически ощущая, как “быт России разлагается, семейная жизнь теряет всякий образ... На пустом месте становится идеал общего счастья и мыслимая близость с несчастными всех стран — пролетариями” [24, с. 302].

Чтобы заполнить “пустое место” разрушенной в ходе революционного переворота традиционной русской культуры, большевизм должен был предложить новые идеалы, которые могли бы сплотить и объединить различные классы и сословия. Поэтому одной из главных задач партии Ленина, взявшей управление государством, стало укрепление идейных позиций своих сторонников — “*пролетариев*”, на сторону которых перешли бы все остальные сословия общества. Весьма значимая роль в деле трансформации буржуазной личности в “*человека-пролетария*” отводилась творческой интеллигенции, которая должна была выполнить “социальный заказ” власти — в помощь коммунистической идее создать великие художественные произведения.

Рассматривая исторический контекст концепции “социального заказа”, можно убедиться, что идейно-теоретическим основанием самой возможности поставить искусство на службу политике была философия марксизма, главным социологическим тезисом которого является провозглашение определяющего влияния экономического базиса и типа производственных отношений на духовную жизнь общества. Опираясь на данный постулат, русский теоретик и пропагандист марксизма Г.В. Плеханов пришел к выводу, что культура любой эпохи подчинена идеологии экономически господствующего класса, который, исходя из собственных интересов, подавляет враждебные или поощряет полезные для себя направления искусства. Поэтому «только приняв во внимание борьбу классов и изучив ее многообразные перипетии, мы будем в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно объяснить себе “*духовную*” историю цивилизованного общества» [10]. По Плеханову, только рабочий класс, руководствуясь марксистской идеологией, может обеспечить творческую гармонию художника с обществом, поскольку только политически “правильные” идеи способствуют возникновению великого искусства.

Как ни парадоксально, но одним из первых художников, ставшим исполнителем “социального заказа” революции, оказался утонченный символист, мистик и эстет — певец “Прекрасной дамы” — Александр Блок. Именно он в 1917 году, услышав “музыку революции”, взялся исполнить “заказ” ленинской партии — привлечь образованное сословие русского общества на сторону пролетарского государства. Один из самых влиятельных деяте-



лей большевизма и сам не чуждый литературному творчеству Л.Д. Троцкий сетовал, что интеллигенция в своем целом не смогла осознать историческое значение Октябрьского переворота, хотя «мы получили, правда, “Двенадцать” Блока и несколько произведений Маяковского. Это кое-что, намек, скромный задаток, но не уплата по счетам истории, даже не начало уплаты» [26, с. 32]. Тем не менее важнейшим для власти было то, что благословляющая дело революции именем Христа поэма Блока стала ярчайшим примером и вдохновляющим образцом усвоения и выполнения большевистского “социального заказа”. Поэтому, защищая Блока от критики за поэтическую поддержку им революции, Троцкий угрожающе заявлял колеблющейся интеллигенции: «Если для Блока революцией является сама Россия, как она есть, то что означает “вития”, который считает революцию предательством, что означает поп, идущий в сторонке, что означает “старый мир, как пес паршивый”? <...> Россия раскололась надвое — в этом состоит революция. Блок одну половину назвал паршивым псом, а другую благословил теми благословениями, какие имелись в его распоряжении: стихом и Христом» [там же, с. 102]. Как один из главных вождей партии большевиков и Советского правительства Троцкий требовал от интеллигенции незамедлительно стать на сторону революции, как это сделал Блок, что и позволило поэту создать «самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма “Двенадцать” останется навсегда» [там же].

Конечно же, Троцкий не мог знать, что под образом “витии”, обвинившим Блока в предательском пособничестве государственному перевороту, был выведен именно Пришвин. Да и сам писатель об этом узнал только много лет спустя — в 1927 году после долгого перерыва Пришвин посетил бывшую столицу империи, переименованную в Ленинград, где Иванов-Разумник сообщил ему, что Блок в “Двенадцати” в образе “витии” изобразил именно его:

... А это кто?

— Длинные волосы

И говорит вполголоса:

— Предатели!

— Погибла Россия!

Должно быть, писатель —

Вития...

«Значит, этим Блок отомстил мне за статью “Большевик из Балаганчика”, — с горечью констатировал Пришвин. — <...> Мне очень досадно, что Блок оказался способным расходовать себя на такие мелочи. И как глупо: это я-то “вития!” <...> Но что Блок бросился в “чан”, это, кажется, верно, и что он воскрес бумажным вождем, бумажным Христом, тоже верно, и что этот Христос — сам Блок, несомненно, и от сопоставления этого Христа с настоящим очень пакостно. Блок вообще кончил дурно. Да едва ли и была ему какая-нибудь “музыка” от революции. Верней всего это не чувство, а мистическое при-чувствие (так в зимнее время в лесу, когда воеет по мерзлым ветвям метель, сухой скрюченный дубовый лист, так странно и ненужно усидевший на ветке, стучит, принимает, мертвый, тоже какое-то пугающее нас участие в музыке метели)» [17, с. 210].

*А. Подоксенов
Михаил
Пришвин
и Александр Блок*

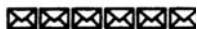
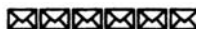


**“Музыка револю-
ции”. Последний
аккорд. Фото
М.М. Пришвина.
1930**

Из дневниковых записей видно, что Пришвин был категорически не согласен с оценкой себя в “Двенадцати” как “витии” — контрреволюционера и предателя демократических идеалов русской интеллигенции. Напротив, сам поэтический восторг Блока революционной катастрофой писатель считал трагическим заблуждением. И здесь вполне символично, что именно Троцкий, который сразу же увидел в поэме Блока эстетическую поддержку большевизма, также, не колеблясь, заявил, что повесть Пришвина “Мирская чаша” — “контрреволюционная вещь” [16, с. 267].

После революции писатель не раз возвращался к блоковской поэме, пытаясь уловить ее скрытый смысл. «Наконец, я понял теперь, почему в “12-ти” впереди идет Христос, — писал Пришвин в 1922 году, — это он, только Блок, имел право так сказать: это он сам, Блок, принимал на себя весь грех дела и тем, сливаясь с Христом, мог послать Его вперед убийц: это есть Голгофа — стать впереди и принять их грех на себя. Только верно ли, что это Христос, а не сам Блок, в вихре чувств закруженный, взлетевший до Бога». Далее следует заключительная ремарка о действенном смысле поэтического оправдания революции в “Двенадцати”: «Розанов: “Это все хлысты”, “бросайтесь в чан»» [там же, с. 287]. Несколько позже, в 1926 году, Пришвин снова высказал мнение о том, что, бросившись в революционный чан и апологетически исполнив “социальный заказ” большевизма по идейному оправданию своей власти, поэт оказался “глуповат и слеп в отношении к дьяволу. <...> Блок пошел в Октябре каким-то нечестным путем и хотел обмануть самого сатану, якшаясь с низшими. Революция шла честно, а Блок нечестно, и за то пострадал” [17, с. 141].

Однако вернемся к самым “горячим” дням и месяцам первых лет жизни послереволюционной России. Дневниковые записи 1918 года свидетельствуют о напряженном поиске писателем худо-



жественного выражения того процесса переделки человеческой личности, который предстал в виде хаоса варящегося в котле революции бессловесного человеческого “вещества”. И тут сама действительность подсказывала ответ: художественным прообразом революционного чана для Пришвина становится коммуна, в которой всякое индивидуальное “я” частного собственника-землевладельца по замыслу большевизма должно превратиться в коллективное советское “Мы”.

Пришвин обнаружил, что отмеченное им еще в начале века сходство сектантского и марксистского мировоззрений находит продолжение уже в новой, советской действительности. «Государственная коммуна в государстве, где народ считает издавна власть государства делом антихриста. Между тем религиозная коммуна считается в обществе высшим идеалом. <...> Обыватель говорит обыкновенно: “Я ничего не имею против идей коммунизма”, ему нужно сказать: “против коммуны религиозной”. Заманить в коммуну может только мечта или же загнать государственный кнут» [15, с. 333]. Именно в соединении русского марксизма с религиозным сектантством видится Пришвину своеобразие большевистской революции, на весь мир провозгласившей свой призыв: «Забудь свою личность, бросься в наш русский чан, покорись! Не забудет себя европеец, не бросится, потому что его “Я” идет от настоящего Христа, а наше “Я” идет от Распутина, у нас есть свое священное “мы”, которое теперь варится в безумном чану, но “Я” у нас нет» [там же, с. 27]. Прийти к такому выводу писателю в значительной мере помогла полемика с Блоком, апологетические статьи которого об Октябрьском перевороте в концентрированной форме выражали сознание значительной части русской интеллигенции в ее движении вниз, в хаос стихии народного бытия, в черный бурлящий чан революции.

Дневниковые записи Пришвина позволяют детально проследить, как образ бурлящего чана революции становится для писателя также и символом общей “чаши искупления” за заблуждения и грехи интеллигенции. В “Мирской чаше” это наглядно раскрывается в эпизоде полуночного изготовления крестьянами самогона, когда, стоя у освещающего окрестную темноту костра, учитель Алпатов символически причащается оным “*жидким хлебом*” из общей чаши:

— Ну как? — спросил Азар.

— Хороша! — ответил Алпатов, брызнув остатки спирта из стакана в огонь. Синее пламя вспыхнуло и свидетельствовало, что сын народа причастился его горькой и подчас веселой судьбе” [22, с. 105]. И хотя не в первый раз уже доводилось учителю пить самогон, все-таки “страх охватывал его перед каждым стаканом: это не рюмка водки, это большой чайный стакан такого вонючего спирта, что, кажется, лес далеко вокруг пахнет внутренностью волостного комиссара” [там же, с. 104]. Многозначительное сравнение запаха самогона с “духом” комиссарской “внутренности” напоминает Алпатову о его столкновении в музее с полубезумным от пьянства комиссаром Персюком, образ которого выступает ярчайшим свидетельством того, что к утрате личности и возвращению в темноту скифского варварства чело-

века одинаково ведут как алкоголизм, так и уничтожающая личность марксистская идея коммуны.

Уже в послевоенные годы, подводя жизненные итоги, писатель заметит: “Личность в русской истории, мне представляется, стоит всегда перед искушением во имя общего блага броситься в некий чан” — и приведет в пример “Тараса Бульбу”, где гоголевский Андрей соблазнился красотой; и хотя “мы вместе с Гоголем ему сочувствуем, но во имя общего дела, родины отец убивает его” [19]. Сам же Пришвин не захотел броситься в революционный чан, как это сделал Блок, который “был робким хлыстом, колебавшимся у края бездны: броситься или подержаться. В Октябре он, наконец, решился и бросился в эту бездну, чтобы умереть и воскреснуть царем-христом. Судьба его была подобна костромскому нищему, который 30 лет обещал свое вознесение и, наконец, собравшись с духом, поднялся на колокольню, бросился и обломал себе ноги” [17, с. 140].

Даже спустя многие годы Пришвин по-прежнему в творчестве поэта ощущал налет религиозного сектантства. «Вечером читали Блока более двух часов, — отмечал он в Дневнике 25 декабря 1940 года, — и ясно предстало люцифер-хлыстовское происхождение этой поэзии. Вспомнилось, в религиозно-философском собрании Розанов из толпы людей вытащил за рукав Блока и сказал мне: “Вот наш хлыст и их много, все хлысты”. Правда, эта религиозная распутица, подмена веры в Бога поэзией непосредственным человеком воспринимается как *нездоровье*, гниение; эти слова — здоровье и нездоровье — содержат в себе: здоровье — правду, веру, верный путь; нездоровье — ложь, подмену, ложный путь. Так все это искусство было на ложном пути, и большевизм в начальной фазе своей был как направляющий бич правды» [18]. Хотя вскоре оказалось, что большевизм, первоначально выступивший по отношению к декадентству как “бич божий”, неожиданным образом сам стал разновидностью идейного сектантства, которое по сути своей почти ничем не отличалось от сектантства религиозного. И этот аспект большевизма особенно ярко проявился в том, с какой одержимостью партия Ленина после захвата государственной власти начала уничтожать священников, разорять храмы и бить колокола.

Лишь в 1951 году к умудренному жизнью писателю пришло окончательное понимание того, что роль поэта в революции была не хлыстовским мороком, не идейным заблуждением и тем более не предательством нравственных идеалов русской интеллигенции: «Боже мой! я, кажется, только сейчас подхожу к тому, что сказал Блок в “Двенадцати”. Фигура в белом венчике есть последняя и крайняя попытка отстоять мировую культуру нашей революции. Как же я тогда этого не понимал, как медленно душа моя опознает современность» [13, с. 540]. Но суть дела заключалась в том, что Пришвин принципиально не желал растворить свою личность в большевистской идеологии, как многие из интеллигенции, решившие ради ли сохранения свой жизни, во имя ли торжества революции “броситься в чан, как Маяковский” [там же, с. 627] или как Блок, либо прислуживать новой власти, как “нахальные придворные поэты Демьяны” [17, с. 367].



Литература

АРХИВ



1. Александр Блок: Новые материалы и исследования // Лит. наследство. Т. 92, кн. 4. М.: Наука, 1987. С. 327–328.
2. *Белый А.* Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 359.
3. *Блок А.* Записные книжки. 1901–1920. М.: Худ. лит., 1965. С. 131.
4. *Блок А.А.* Интеллигенция и революция // Собр. соч.: в 8 т. Т. 6. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. С. 20.
5. *Блок А.А. М. Пришвин.* У стен града невидимого // Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. С. 651.
6. *Блок А.А.* “Может ли интеллигенция работать с большевиками?” // Собр. соч.: в 8 т. Т. 6. С. 8.
7. *Блок А.А.* Письмо В.В. Розанову 20 февраля 1909 г. // Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М.; Л.: ГИХЛ, 1963. С. 276–277.
8. *Бунин И.А.* Воспоминания // Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М.: Моск. рабочий, 2000. С. 192, 313.
9. *Бунин И.А.* Окаянные дни // Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. С. 142.
10. *Плеханов Г.В.* Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии // *Плеханов Г.В.* Эстетика и социология искусства: в 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1978. С. 287.
11. *Пришвин М.М.* Астраль. (Возле процесса “Охтинской богородицы”) // Собр. соч.: в 8 т. Т. 2. М.: Худ. лит., 1982. С. 591–592.
12. *Пришвин М.М.* Большевик из балаганчика. Ответ Александру Блоку. (Воля страны. 1918. № 16. 16 (3) февраля) // *Пришвин М.М.* Цвет и крест. СПб.: Росток, 2004.
13. *Пришвин М.М.* Дневники. 1905–1954 // Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М.: Худ. лит., 1986.
14. *Пришвин М.М.* Дневники. 1914–1917. М.: Моск. рабочий, 1991. С. 54.
15. *Пришвин М.М.* Дневники. 1918–1919. М.: Моск. рабочий, 1994.
16. *Пришвин М.М.* Дневники. 1920–1922. М.: Моск. рабочий, 1995.
17. *Пришвин М.М.* Дневники. 1926–1927. М.: Рус. книга, 2003.
18. *Пришвин М.М.* Дневники. 1940–1941. М.: РОССПЭН, 2012. С. 338–339.
19. *Пришвин М.М.* Дневники. 1946–1947. М.: Новый Хронограф, 2013. С. 290.
20. *Пришвин М.М.* Кашеева цепь // Собр. соч.: в 8 т. Т. 2. С. 460.
21. *Пришвин М.М.* Круглый корабль // Собр. соч.: в 8 т. Т. 1. М.: Худ. лит., 1982. С. 794.
22. *Пришвин М.М.* Мирская чаша. М.: Жизнь и мысль, 2001.
23. *Пришвин М.М.* Мой очерк. (Биографический анализ) // Собр. соч.: в 8 т. Т. 3. М.: Худ. лит., 1983.
24. *Пришвин М.М.* Ранний дневник. 1905–1913. СПб.: Росток, 2007.
25. *Пришвин М.М.* Русский чан // *Пришвин М.М.* Цвет и крест. С. 204.
26. *Троцкий Л.Д.* Литература и революция. [Печатается по изд. 1923 г.] М.: Политиздат, 1991.